

Александр Секацкий

ЭТИКА
ПОД КЛЮЧ



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

КТО И КАК СОЗДАЕТ ЭТИКУ

1

Целый ряд вопросов, относящихся к социальной философии, к социологии религии да и собственно к метафизике, должен быть поставлен или, скорее, пересмотрен в рамках открывшихся обстоятельств. Вопросы, о которых идет речь, например, следующие: кому принадлежит авторство в сфере нравственности? общеизвестна роль нравственного примера и безупречного морального поведения – но как возможно установление нравственных законов? и как соотносится эта законодательная, учредительная деятельность с гипотетическим законодательством в сфере человеческой природы?

И еще: возможны ли этики во множественном числе, причем не как этические системы в этнографическом смысле, не как этические принципы, встречаемые у других, преимущественно *далеких других*, типа маори или бороро, а как реально конкурирующие версии в ожидании нашего выбора, версии, каждая из которых будет этикой, причем определенным образом обоснованной? Для Канта с его императивами чистого практического разума такая постановка вопроса была бы, конечно,

нелепой, и философа можно понять, ведь из трех утверждений:

- 1) у каждого свой вкус,
- 2) у каждого своя правда,
- 3) у каждого своя нравственность –

сомнительны все три, но лишь третье нелепо, поскольку сказать, что у каждого своя нравственность, – то же самое, что сказать: нравственности вообще не существует. Не потому ли во всех языках есть аналоги таким выражениям как «нравственные скрепы» и «моральные устои», содержащие прямые указания на прочность и устойчивость? Однако едва ли где можно встретить словосочетание «нравственные импровизации» – разве что примерно в том же ироническом смысле, что и «детская неожиданность». С этим отчасти связано и отсутствие указаний на авторство нравственных постулатов, по крайней мере на авторство со стороны смертных. Да, некоторые из давних заповедей известны по именам: Моисей, Иисус, Заратустра, Мухаммед, – но это не имена смертных, и с данным обстоятельством напрямую связана действительность соответствующих установлений.

Если нам скажут, что некий ученый, Максвелл или Менделеев, напряженно размышлял, упорно работал и совершил открытие – и обогатил человечество этим открытием, – мы будем ему благодарны и присвоим его имя открытию с большой охотой, пусть это будет таблица Менделеева, демон Максвелла, закон Авогадро. Ну а если праведник в ходе столь же упорных размышлений вывел ранее неизвестную нравственную максиму или этический принцип? Вроде бы такое возможно. Мы же говорим о категорическом императиве Канта, о принципе ненасилия Ганди или о ницшеанской заповеди «падающе-

го – толкни». И разве все это не результаты такого же обдумывания, каким занимаются другие ученые в сфере математики и естествознания? А если нам скажут, что Кант ничего не выдумал, так ведь и Авогадро не предписал свой закон природе, он его вывел, то есть открыл...

И все же о первооткрывателях и изобретателях в сфере этики или, скажем, об «ученых» в области морали говорить не принято. И, в принципе, понятно почему: во имя конструктивной иллюзии вечных и нерушимых устоев морали. В силу этой иллюзии ученый, «изучивший» свою науку и ставший образцовым преподавателем, но не совершивший открытий, ценится ниже, чем тот, кто открытие совершил: именно он обогатил науку. В сфере морали наоборот: безупречен тот, кто вдохновлял своим нравственным примером, то есть фактическим следованием общепринятым нормам морали, тогда как «моральное изобретательство» выглядит заведомо подозрительно. И несомненно одно: в сфере нравственности следовать общепринятым нормам труднее, чем изобретать новые, тут подходящее по случаю *bon mot* звучит так: когда вагоновожатый ищет новые пути, трамвай сходит с рельс.

2

И все же вновь открывшиеся обстоятельства позволяют нам утверждать, что этика во множественном числе возможна. Причем без отказа от универсализма, иначе никакая она не этика, а хитрость разума или простая безнравственность. Скажем сразу: главным обстоятельством, поставившим вопрос об этическом творчестве на повестку дня, служит опыт современного искусства, которое решилось наконец выйти

за границы отдельных опусов, как бы безопасных, специально отведенных художнику площадок, и войти в сферу производства самой жизни. Произошло это потому, что, с одной стороны, создание опусов стало захлебываться в пене повторов и помех (на что указал еще Вальтер Беньямин), а с другой – сопротивление *самой жизни* такого рода вторжениям явно ослабело. Ослабело из-за внутренней эрозии и последующего обрушения, а также из-за того, что релятивизация устоев свершилась *de facto*, и уже сегодня реально противостоят друг другу не нравственность и безнравственность, а компактные этические системы, правда пока еще не признающие друг друга в качестве таковых. И любимое философами искусства противопоставление этики и эстетики обернулось наконец тем, что создание этики было напрямую поставлено перед художником как высшая художественная (эстетическая) задача. Это же можно выразить и иначе: рано или поздно по мере увеличения производительных сил и неуклонного расширения численного состава искусство должно было перейти от производства точечных опусов к синтезу работающих компактных этик – к созданию *этики под ключ*. Теперь это происходит на наших глазах.

Переход от штучного поэзиса к конвейерному производству, зарегистрированный Адорно, Хоркхаймером и Беньямином, был промежуточным этапом – и к тому же ответвлением от искусства, его модификацией, а не самим искусством. А вот производство образа жизни в качестве предъявляемого результата было именно имманентной целью, хотя и целью не распознанной, ускользающей от самосознания художника. Производство опусов, разумеется, не прекратилось, но теперь, став опорными точками в той или иной компактной этике, они, конечно, изменили свой смысл.

Самоопознание и новая ориентация современного искусства – одна из причин обрушения «единой и всеобщей нравственности». Но, конечно, философия уже долгое время занималась плюрализацией этического поля, как правило, не оповещая об этом и получая некую собственную этику в качестве побочного результата. Но немало примеров и осознанного этического творчества, и переосмысления роли этики, что демонстрирует, например, Ален Бадью в своих последних работах «Апостол Павел», «Истинная жизнь», говоря об универсализме, без которого истинная человеческая жизнь невозможна, но при этом используя выражение «универсализм истин» во множественном числе. То есть истина должна быть универсальной пока она истина, но она утверждается и самоутверждается как истина посредством события. Ты обретаешь истину, прежде всего этическую, если ты не отклоняешь События, не чинишь ему препятствий, а идешь навстречу («И приветствуешь звоном щита», – добавил бы Блок). Александр Саркисянц, резюмируя позицию Бадью, справедливо пишет: «Истина, будучи универсальна и сообщая бесконечность тем, кто распространяет ее следствия на ситуацию, освобождает и впервые создает (то есть каждый раз заново) возможность истинного коллективного состояния, которое было подавлено абстрактным законом. То чистое событие, которое не привязано ни к какому месту, его обращенность ко всем, то, что событие пересекает порядок мнений, идеологий и господства, является для Бадью тем, что составляет его благодать»*.

* Саркисянц А. А. Возможность истинной жизни: этико-политическая жизнь Алена Бадью // Бадью А. Истинная жизнь. – М., 2018. С. 46–47.

Бадью предпочитает называть этику практической истиной сообщества, и это не меняет сути вопроса о соотношении универсализма и конкретности, определяемости неким значимым событием. Этика невозможна вне отношения к другому и есть «истинное коллективное состояние», но численный состав сообщества никак не обозначен. Христианство – образцовая универсальная всемирная религия, но сам Иисус определяет церковь так: «Где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я среди них». И эти двое или трое собравшихся, если они верят в истину и руководствуются ею, способны сделать миру предложение, от которого тот не сможет отказаться. Не сможет еще и потому, что иррадиация этического сообщества намного сильнее, чем воздействие самого гениального произведения-опуса. Предложение – в несколько вольной трактовке – гласит: *живи так и увидишь, что будет*. Оно может быть подключено к принципу наслаждения, а может и не содержать никакой циркуляции наслаждения вообще. Но зато этика, обновленная новаторская этика, – это всегда прорыв к свободе, ведь таким образом учреждается мир, подчиняющийся моему выбору, как железо на наковальне подчиняется кузнецу. Таким образом, принятие новой этики (назовем его обретением истинной нравственности, так будет привычнее) – это преобразование всего остывшего и ржавого в раскаленное железо, из которого в поте лица своего предстоит выковать новый мир. По крайней мере, такой шанс дается тому, кто уверовал в истину, и глагол «уверовать» в данном случае просто означает решительно выйти за пределы теоретического подхода, предъявить к проживанию, учредить в качестве закона самой души – то есть принять без обращения к вспомогательным правовым институциям. Единство универсального, миро-

вого и только что обретенного по наитию или в результате размышления – таков живой нерв этики и, если угодно, сама сущность этического.

С этой именно сущностью и имел дело не кто иной, как Кант. Мы привыкли обращать внимание на принципиально вселенскую претензию категорического императива, доходящую до декларируемой слепоты в отношении сорного эмпирического: ничто не должно сбить тебя с пути истинного, не должно быть никакой обратной связи – живи под юрисдикцией свободы, и пусть директивы иного, будь то Дух тяжести или принятый социальный порядок, вызывают у тебя то недоумение, то презрение, то улыбку. Пусть нравственные законы этого мира и будут для тебя единственными непреложными законами.

Императивы чистого практического разума действует, невзирая ни на что, – и какие еще нужны аргументы в пользу универсальности, всеобщности этих этических и экзистенциальных принципов. Эмпирические поправки к «нравственному закону во мне» исключены, и это делает кантовскую систему одной из самых ригористических.

Однако все дело в том, что нравственное законодательство осуществляется изнутри, потому оно и называется принципом свободы. Мысленно переходя от одного императива к другому, мы всюду видим незыблемость моральных установок, но совсем не обязательно *тех же самых* установок. О тождественности *содержания* категорических императивов у Канта ничего не сказано, более того, у него вообще ничего не сказано о содержании суверенного законодательства практического разума. Фактически перед нами демиургия как манифестация чистой свободы воли. Продуцируемые миры могут быть почти тождественными, а могут не иметь друг с другом ничего общего,

кроме самой аподиктичности и принципа *als ob*. Каждый акт суверенной демиургии начинается со слов «Да будет!», но дальше возможны разночтения, в одном случае – *Да будет так!*, в другом – *Да будет иначе!*

С этой поправкой кантовский ригоризм приобретает совершенно иной смысл, и его выявляющаяся парадоксальность оставляет позади Франсуа Вийона. Между тем здесь сама суть взглядов Канта на свободу и феномен человека, и остается только удивляться, почему антиномии чистого теоретического разума сформулированы эксплицитно и внятно, а единственная антиномия чистого практического разума до сих пор не эксплицирована. Впрочем, представить ее в эксплицитном виде совсем не трудно.

а) Максимы чистого практического разума носят характер абсолютно универсального общеобязательного закона.

б) Максимы чистого практического разума суть манифестации моей свободной воли и не могут быть мне навязаны извне.

Даже в скрытом виде эта антиномия породила множество дежурных парадоксов вроде допустимости лжи во спасение, но они органично встроены в саму материю этического, подобно тому как муки совести являются главным, если не единственным, содержанием самой совести.

Тем не менее суть всякой возможной этики Кант ухватил: это противоречие (оно же *внутреннее беспокойство*) между универсализмом, при отсутствии которого этика сама отсутствует или носит другое имя, например называется хитростью разума, и свободным выбором внутреннего законодательства, без которого нравственности не существует. В этой связи мы еще не раз обратимся к Канту.

Теперь присмотримся к Марксу, к его способу решения вопроса об универсальности этики и конкретности истины. Скажем сразу: именно новая этика явилась отличительной чертой философии Маркса и не ослабевающей популярностью марксизма – обстоятельство, которое остается в тени и которым стоит заняться подробнее.

«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» – так гласит одиннадцатый тезис о Фейербахе, одно из самых цитируемых мест в корпусе марксистской литературы. Смысл данного изречения, в сущности, прост: если речь идет о требовании, адресованном философии, то необходимо перевести истину из дискурсивной плоскости в практическую, а значит – придать ей этический характер. Это и сделал марксизм: впервые в истории европейской метафизики был совершен акт осознанного этического творчества, прежде этим занималось только христианство, используя минимальную авторизацию (Лютер) или вовсе отказываясь от нее, чтобы не нарушать *вечность* нравственных устоев и столь необходимую для морали универсальность. Любопытно, что этого же принципа придерживались авторы советских учебников по марксистской этике, подчеркивая, что марксизм отнюдь не отменяет основ общечеловеческой нравственности, и вставляя время от времени дежурные заявления о «классовой природе морали», то есть фактически замалчивая саму суть произведенной марксизмом революции в сфере общественного сознания.

Поэтому уместно перечислить важнейшие тезисы свершенного акта морального творчества, отчасти совпадающие

с другими имеющимися образцами – с революционной этикой первоначального христианства и с этическими новшествами, внесенными Реформацией.

1. Первый тезис может быть выражен словами Ленина: «Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна». Тут важно и каждое слово, и их порядок. Можно ведь было сказать: «Истина одна, но мир меняется, и к извечной истине приходится искать новые пути». Но диалектическое противоречие сформулировано здесь со всей остротой. Шаг вправо – «истина неизменна и нуждается лишь в восстановлении, как нравственность в соблюдении» – и исчезнет революционность, потеряется потенциал действия. Шаг влево – «истина у каждого своя» – и исчезнет сама истина заодно с объединенным ею сообществом. Так что, по большому счету, утверждение Бадью о том, что истина определяется Событием и готовностью к встрече с ним, – это тот же самый тезис, но выраженный в иной, облагороженной (так всегда кажется на первых порах) форме.

2. Эсхатологический универсализм новой нравственности – и здесь марксизм в наибольшей степени разделяет общую позицию с христианством. Вспомним: сначала сообщество, объединенное новой ошеломляющей истиной, в соответствии с которой смерть будет побеждена и последние станут первыми. Неважно, сколько нас сейчас: двое, трое или двенадцать, – мы взялись за устранение несправедливости мира, и с нами Бог, и он сказал: «Я есть Истина». И нам есть что сообщить изолгавшемуся, ни во что не верящему миру, есть и что предъявить: братство верных, освобождение от брэнности, от смертности, от безнадежности. Отзвук этих положений нетрудно обнаружить в учении Маркса, из чего следует, что собственно

«учение» есть лишь вводная часть новой практики. Выражаясь в ленинском стиле, можно сказать: марксизм есть учение плюс его применение, и тот, кто игнорирует вторую часть формулы, тот не марксист. Да и учение как марксизма, так и христианства, опирается на такую «экспериментальную базу», какую не выработала для себя ни одна из дисциплинарных наук.

3. Оппозиция истины и лжи не может быть сведена к силлогистике или логике высказываний. Иными словами: согласованность и, стало быть, истинность множества высказываний ничего не стоит, если за ними стоит ложь самого бытия. И несправедливость той или иной действительности должна высвечиваться через экзистенциальную речь, в противном случае такой речи грош цена. И наоборот, истина бытия никуда не денется, даже если ей не удастся пробиться через тот или иной риторический строй. Это относится и к косноязычной речи пролетариата, которая как раз и ставит перед всеми порядочными, нравственными людьми новую *этическую* задачу: привнести слово, дать язык, избавить «улицу» от «корчей» (Маяковский: «...улица корчится безъязыкая»), чтобы смогла перенести истину бытия в риторическую согласованность высказывания. Сама истина бытия взывает об этом к каждому коммунисту по выбору совести и требует именно этического оформления, смены одной из важных жизненных установок.

Прежняя установка образованного сословия или, если угодно, «всех мыслящих» предполагала естественную солидарность с такими же, как ты, с «агентами чистого разума», и презрительное, в лучшем случае снисходительное отношение к «черни», к необразованной массе, к тем, кто далек от зова чистого разума. Христианская этика требовала

помочь малым сим обрести истину, что и являлось важнейшей целью миссионерства. Теперь же дело должно было обстоять иначе. Приоритет принадлежит истине самого бытия, и эта истина в экзистенциальном и социальном разрезе обнаруживается как историческая миссия пролетариата. Обращают на себя внимание два обстоятельства, не столько теоретического, сколько нравственного характера:

1) Эта глубинная истина бытия принципиально искажена существующим положением вещей (эксплуатацией свободного труда), и, следовательно, долг коммуниста изменить сущее.

2) Поскольку пролетариат причастен к истине бытия, то именно он выступает в роли наставника и, если угодно, является аттрактором исторической истины сборки субъекта. Преимущество специалиста-по-словам в обладании неким специфическим знанием (традиционной образованностью) является, следовательно, частным преимуществом, а вот преимущество пролетариата в обладании праксисом как истиной бытия является универсальным. Там, где была когда-то мудрость брахмана, там теперь совокупный праксис пролетариата: теперь истина бытия определяет истину высказывания, а не наоборот – стало быть, и все конфигурации символического, включая и знание в форме дисциплинарной науки, должны получить санкцию конкретно-исторически сложившегося бытия.

Данный момент, безусловно, является исторически новым и в том числе предстает как этическое обновление и как важнейшая модификация экзистенциального проекта. Революционное сознание и мироощущение, родившиеся раньше марксизма, именно теперь обретают надлежащее воплощение. И, если угодно, выступают прообразом всякой последующей этики под ключ.

И еще ряд новых нравственных моментов, располагающихся как бы на стыке идеологии и эсхатологии пролетариата. Пролетариату принадлежит будущее, это будущее можно ускорить и в некотором смысле установить уже сейчас. Помимо революции как решающей процедуры важная роль принадлежит самоопoznанию: так можно охарактеризовать чувственно-сверхчувственную классовую солидарность, прекрасно описанную Андреем Платоновым.

В моральном кодексе строителя коммунизма эта этическая составляющая учения получила название «пролетарский интернационализм». Согласно данному принципу взаимопознание пролетариата, человека трудящегося, происходит независимо от идейных разногласий и, разумеется, национальных аттракторов. Опознав товарища как товарища, ты можешь ему довериться и на него положиться. Сам по себе данный этический элемент не является новым, он служит реинкарнацией христианского принципа «нет ни Еллина, ни Иудея» и вообще возобновлением, разогревом остывшей этики первоначального христианства. Между двумя мировыми войнами самоопознание на уровне мирового братства отличалось той же эффективностью, что и в эпоху первых христиан: если там декларировался принцип «оставь отца своего и мать свою и иди за мной», так что духовные братья оказывались ближе друг к другу, чем члены одной семьи, то и призыв Ленина «превратим войну империалистическую в войну гражданскую» вовсе не воспринимался как призыв к братоубийственной войне, напротив, в нем слышали зов, адресованный братьям, всем угнетенным и эксплуатируемым, пролетариям всех стран. И зов гласил: «Опознайте друг друга, братья, не дайте

себя одурачить!» Два десятилетия Коминтерна явили миру действенность новой этики, а ее апофеоз, несомненно, пришелся на гражданскую войну в Испании. Многократно цитированные строки Михаила Светлова:

Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать –

точно так же не были пустым звуком, как и ленинский призыв, и этот девиз касался не только Советской России, но и, скажем, Франции, Мексики или Венгрии. «Свой в беде!» – революционная нравственность требовала немедленного вмешательства, а политической солидарности требовала простая порядочность. Наверняка со стороны обывателей все это выглядело диковинно и нелепо, однако этические принципы действовали, как бы это ни выглядело странно с позиций какой-нибудь другой эпохи. Точно так же нетрудно вообразить, сколь нелепыми действующие нравственные принципы христианства показались бы современникам Александра Македонского или Гая Юлия Цезаря – но они сломили и победили этику имперского Рима, равно как и племенную этику варваров. Что же касается пролетарского интернационализма, то он стал пустым звуком уже во время Второй мировой и продолжает оставаться таковым сейчас, сегодня призыв превратить внешнюю войну во внутреннюю однозначно воспринимался бы как провокация и предательство, причем в любой стране – но ведь из песни слова не выкинешь, и из истории не удалить никакой, даже самой причудливой главы.

В дальнейшем принцип самоопознания и соответствующий ему этический призыв «братство не по крови, а по экзистенции» действовал внутри движения хиппи, включая его советский вариант, известный как «система» – однако его срок действия оказался еще более кратким.

Впрочем, сами по себе, взятые во всех деталях, этические принципы пролетариата и контркультуры нас сейчас не интересуют, нам важна лишь иллюстрация того, что синтез мировых этических систем возможен, что два необходимых для этого обстоятельства, универсализм и новизна, очень даже совместимы, и более того, свежие, не виданные прежде этические принципы эффективнее, нежели те, что идут с незапамятных времен, примером чему является не только пролетарский интернационализм в период своей свежести и юности, но и *разумный эгоизм*, взятый на вооружение двумя поколениями прогрессивной молодежи России второй половины XIX века.

То есть оказалось, что этика, будучи действительно универсальной (иначе она не заслуживает своего имени), не просто допускает модернизацию и модификацию, но и *требует* ее, и получается, что этические обновления, взятые на вооружение, становятся главной преобразующей силой социальности, как научные открытия для науки. И они выполняют эту роль, пока не истечет срок их годности, пока не зачерствеют.

Одновременно следует заметить, что этическое обновление не обязательно происходит в дружеских тусовках и субкультурах, тут мы, как правило, имеем регрессию к тому или иному слою архаики – к братству крови или, например, к воинскому братству. Альтернативы или, если угодно, версии морали продолжают существовать бок о бок, представляя собой хорошо забытое старое, готовое,

однако, к быстрому воплощению, если конкурирующая модель ослаблена. Криминальный экзистенциализм, например, имеет свой образ мира, в котором различные явления четко расставлены по своим местам, но при этом представляет собой смешение разного рода традиционных элементов морали.

Логика требует признать, что все традиции были когда-то новациями, однако сама традиция уверена, что она всегда была традицией – заметим, что «уголовная» традиция в этом отношении не отличается от общечеловеческой. Данные моменты относятся к разряду важных конструктивных иллюзий, сюда же примыкает и «блокировка авторизации»: так, я могу предположить, что мой сосед совершил важное научное открытие или доказал математическую теорему, но я едва ли всерьез буду думать, что он разработал и внедрил новый этический принцип. Это связано еще с тем, что есть этика сообщества, но нет этики одиночек – по крайней мере, так было прежде.

5

Таким образом, влияние и притягательность марксизма объясняются не только его попаданием в историческую истину. Дело еще и в том, что марксизм явил образец преобразования этики, и хотя современный прорыв к этическому творчеству непосредственно обусловлен другими причинами, но без великого исторического прецедента вторжение «теории относительности» в сферу нравственности было бы невозможно.

Теперь подойдем ближе к делу и рассмотрим, почему именно сегодня встал на повестку дня вопрос о создании

этики под ключ как сознательного, целенаправленного и в некотором смысле художественного проекта. Релятивизация нравственного начала – это дальнедействующая и долго действующая причина, в этом смысле все началось с падения диктатуры символического, в свою очередь имевшего ступенчатый характер: сначала «народный материализм» (М. Бахтин), затем Просвещение, провозгласившее подчиненность всей сферы духовного принципу разума, затем последующая гуманизация и денатурация как высшая и последняя стадия этического релятивизма. Вот что писал провидец Ницше в «Человеческом, слишком человеческом»: «Нынче рост эстетического чувства будет бесповоротно выбирать между столь многими предлагаемыми для сравнения формами: и большая их часть – а именно все те, которые оно отвергнет, – обречет на смерть. Точно так же нынче происходит отбор среди форм и привычек высшей нравственности, целью которого не может быть ничего, кроме гибели более низких форм нравственности»*.

Вывод несколько спорный, особенно насчет обреченности на смерть «низких форм», скорее, именно позволение выжить создает конкурирующую среду форм и привычек высшей нравственности, и проблема как раз в том, что наличие конкурентной среды ставит под вопрос нравственность нравственного. И все же Ницше прав в своем прозрении такого эстетического продукта, как этика под ключ, и трижды прав в своем предостережении:

«Возможно, будущая картина потребностей человечества отнюдь не покажет, что желательны одинаковые поступки всех, – наоборот, ради экуменических целей для целых отрезков развития человечества могут

* Ницше Ф. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 40.

ставиться специальные, а в зависимости от обстоятельств даже скверные задачи. – Во всяком случае, если человечество не хочет обречь себя на гибель от такого осознанного всемирного управления, оно должно сначала добыть превосходящее все прежние масштабы *знание об условиях культуры* как научное мерило для достижения экуменических целей. В этом и состоит чудовищная задача великих умов следующего столетия»*.

Чудовищность задачи здесь, конечно, раздваивается. Ее можно понять в том смысле, что объявленные тезисы будут выглядеть особенно причудливыми и не стыкующимися с тем, что принято называть моральным, – чем-то вроде попыток воплощения «Цветов зла» Бодлера или эстетических идей русского авангарда в целом. Но с точки зрения эстетических моментов здесь трудно найти что-нибудь новое. Стало быть, чудовищность может состоять в том, чтобы перевести нечто эстетическое (лишь эстетическое) в нравственное, в универсальную этику, сделать системой самой жизни – примерно в том смысле, в каком Маркс говорил о производстве действительной жизни. А для этого, конечно, недостаточно листка бумаги, для этого мало всего, что есть в арсенале *легкого символического*. Отсюда и признак нешуточной чудовищности: соединить оба эти аспекта – например, вырастить в оранжевое избранные цветы зла, а затем решительно пересадить их на грядки мира, а то и просто смешать с семенами дикорастущих сортов.

Такая характеристика прекрасно подходила бы для самого Ницше, если была бы выполнена некая сумма условий, как субъективных, так и объективных. По своему экзистенциально-психологическому складу Ницше был

* Ницше Ф. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 41.

чрезвычайно далек от стратегов и организаторов духа вроде Лютера и Маркса, у него не было ни малейшего «вкуса к солидарности», его философия, в сущности, руководствовалась девизом магического театра, который позднее сформулировал Герман Гессе: *не для всех*.

Объективные условия можно свести к спектральному составу самого времени, само время (и не только как *Zeitgeist*) благоприятствует одним формам культуры и не благоприятствует другим. Вот *время композиторов*, оно, согласно Владимиру Мартынову, однажды пришло, а потом миновало, оставив нам великую музыку как наследие. Время может благоприятствовать и «этике одиночек», в том смысле, что таковая становится возможной. Почему и в каком смысле?

Теория относительности в сфере морали переходит наконец в практику относительности. Даже такие исторически опробованные версии нравственности, как пролетарская этика и этика нигилизма, в свою очередь подверглись расслоению и обросли версиями, внутренне допускающими существование друг друга и при этом проживаемыми всерьез.

Для этого необходимы потенциальные новаторы, готовые обживать этику под ключ – художники в самом широком смысле слова. Численный рост армии искусства привел к качественным переменам, как некогда численный рост рядов пролетариата. На этом фоне этический опус одиночки вполне может быть принятым к рассмотрению, а затем и предъявленным к проживанию.

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА